

АЛЕКСАНДР ЮДАХИН
ПРОХОЖИЙ

Александр Юдахин

ПРОХОЖИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМА

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1990

ББК 84Р7
Ю16

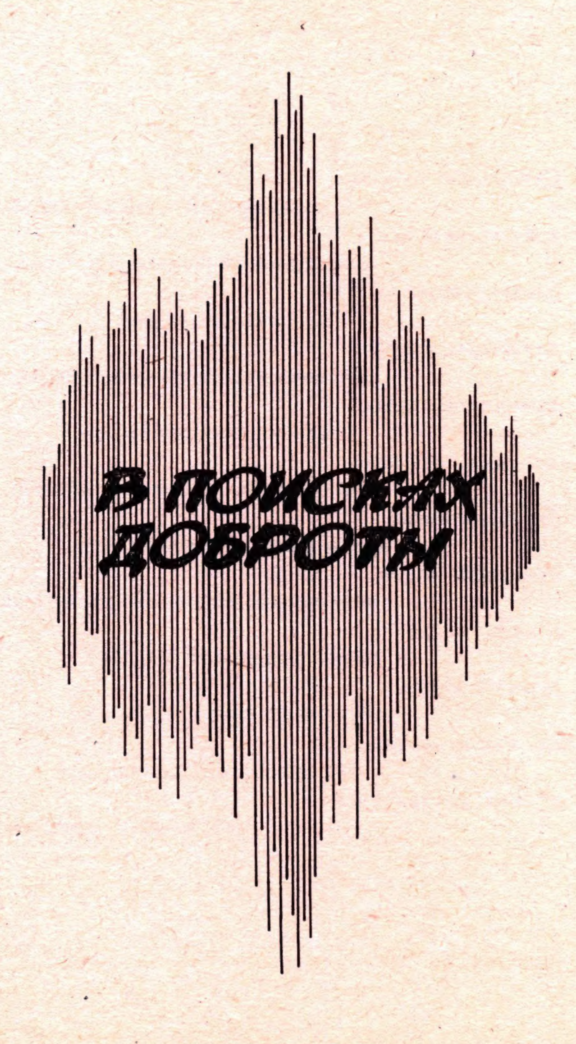
Юдахин А. В.

Ю16 Прохожий: Стихотворения и поэма.— М.: Современник, 1990.— 120 с.
ISBN 5-270-00553-0

Творчество московского поэта Александра Юдахина еще в шестидесятые годы вызвало интерес читателей. Его новую, восьмую книгу составили стихи последних лет, исполненные живым ощущением сегодняшних перемен. В сборнике три раздела — «В поисках доброты» (из цикла «Портреты»), «Миниатюры» и «Поэма о Николае».

Ю $\frac{4702010202-031}{М106(03)-90}$ 170-89 ББК 84Р7

ISBN 5-270-00553-0



Из цикла «Портреты»

* * *

Печерский чернец,
черновицкий спудей-иудей,
иркутский купец,
незаслуженно канувший в Лету,—
рисую живые черты
интересных людей,
известных дворян,
и крестьян, потерпевших победу;
язычников сирых,
которых покинул Перун,
Великих княгинь,
упеченных в святую обитель.
Но даже когда
перед нами отчаянный врун,
печатный тиун,
заоконный вагонный грабитель
и даже когда
я рисую правдивый портрет
дурного урода,
который сродни василискам,
ни злости во мне,
ни судейского холода нет,
а есть состраданье
к его окружению, близким.

Иван Грозный

Хотел бессмертия —
покоя не проси.
Рука холодная дрожит,
глаза голодные.
Козлобородый государь
Всея Руси
поставил рядом божий храм
и место лобное.
С какой ноги
наутро встал —
тому и быть.
Кваску кровавого испил,
забрызгав платье.
Вон обездоленные псы
устали выть.
Пересекаясь в небесах,
летят проклятья.
Для куража
с боярской дочкою шалишь.
В постели мочишься,
не спишь
в ночи безлунной.
Страх точит душу,
омерзителен,
как мышь.
И прожигает темноту
твой взгляд безумный.

* * *

Чумное пугало, изгой,
забывший сельскую осину,
пропивший клюевскую силу,
ты не способен на разбой,
и потому кончай стращать,
вращать кровавыми белками
и, поминая чью-то мать,
стучать по стойке кулаками,
кончай позорить свой народ
и бормотать в горячке белой,
что Соколов не патриот,
а просто рифмоплет умелый!
Ты с человеком не знаком,
двойное горе пережившим,
единственно живым стихом
лауреатство заслужившим.
По мне, Владимир Соколов,
хотя не жнет и дров не рубит,
без суеты и лишних слов
сильней вас всех
Россию любит!

Правнук

В городе ложь
да скупая любовь,—
за город вышел —
попал в мелколесье.
Кровь Шаховских
и крестьянская кровь
вспыхнули в жилах
гремучею смесью.
Сколько ни бьюсь
виноват без конца.
Глядя на пир
на большом гобелене,
жрал потроха,
подыхал без отца,
так мне и надобно
в третьем колене!
Деда звала
на допросы тюрьма,
кашляла тонкая мама
натужно,
от безысхода
сходила с ума —
так мне
наивному волку
и нужно.
Господи, грешен,
хотел помереть,
в реанимации
бредил Парижем,
но обошла
похоронная медь,

рожей не вышел.
На родине выжил.
Горько целую
Ее валуны
на пепелище
губернского сада,
камень грызу
в искупленье вины...
Так мне и надобно,
так мне и надо.

Очевидцы

В. Ч.

Тогда мы были молодыми,
по сути дел почти родными,
и из провинции поэт
и те, что стали знамениты,
и подзаборные пииты —
все дети переломных лет.

Одни гремели на эстраде,
другим давали Христа ради
в газете два десятка строк.
А третьи просто жили-были
или толкали тачку, в мыле,
или спешили на урок.

Я не о том, как мы крутились.
Когда живые возвратились,
освободившись от оков,
мы, непокорные на службе,
вдруг начали учиться дружбе
у зэков и фронтовиков.

Я помню, как в слезах проклятья
седые обнимались братья,
ты это, кореш, заруби,
нам повезло, мы очевидцы,
нам было у кого учиться
терпенью, гневу и любви!

«Деревенщик»

— У меня для труда
есть колун,
и литовка, и лом.
Починил невода
и живу ежедневным трудом.
Каравай из печи —
коль наехал
на праздники друг.
И в таежной ночи
разрывается радиокруг.
В страхе пятится волк
от набора
неслыханных слов:
Панки, Люберы, Рок,
Неформалы, Бухарин, Шмелев...

* * *

Иосиф ночью часто повторял,
что грозный царь с Малютой
обезличены...
— Лаврентий,
нужно точный формуляр
составить
по истории опритчины.
Предтечей был!
Татар в Казани бил!
Бояр гноил,—
кругом одни предатели!
Я, дорогой,
Ивана не забыл:
заказан бюст —
да в лагерях ваятели...
Серьезный царь,
седая борода,
не за себя —
за Государство ратовал,
хоть не хватало школы иногда
и Самому,
и молодцам Скуратовым!

Кузнец

Гончар вертит гончарный круг,
как дед
и прадед и прапрадед.
На кузне
раздается стук —
там заступ для погоста ладят.
Бежит беспечное дитя
через века
за жеребенком
и заливается.
Хотя
рванется рэкет за ребенком.
Гончар останется один
с ненужной в наши дни поделкой...
И лишь кузнец,
непобедим,
расплавит новый клин горелкой.

В заседании

В. Ходасевичу

«Лучше спать, чем слышать речи
злобной жизни человечьей,
малых правд пустую прю...» —
написал поэт серьезный,
человек религиозный.
Вот и я сегодня сплю,
погорев на сентименте,
через семь десятилетий
за совет благодаря;
крепко сплю,
во сне не вижу
разгулявшуюся биржу,
ртов раскрытых кренделя.
«А уж если сны приснятся...» —
пусть хотя бы без паяца
и ученых дураков,
групповых амбиций мерзких,
безнаказанных и дерзких
оскорблений, тумаков...

Улугбек

Его не проводил
к дверям
скуластый каин,
когда известный шах,
великий астроном,
родной покинул дом
под карканье ворон,
пешком пустился в путь
голодный, как дехканин.
Разбуженный палач
вдогонку Улугбеку
пустил с досады меч...
Не дрогнула рука.
И не смогли прийти
на помощь человеку
ни разум, ни аллах,
ни друг и ни слуга.
Привычно сорвалась
с высот седьмого неба
зеленая звезда.
Видать, закон таков:
рад правоверный раб
арапского молебна
мостить дорогу в рай
костьми еретиков.

Калиостро

I. Миф

Средневековый экстрасенс,
блестящий граф,
                    мистификатор,
смертельный
                    выиграл процесс,
но королевский провокатор,
устроив лондонский скандал,
свел небожителя
                    в ночлежку,
где «Калиостро» прогадал,
поставил
                    целый фунт на решку.
Игрок, пророк,
                    но боже мой,
чему две тыщи лет учился?
Зачем за вздорною женой
он к римской теще потащился?
Попал в тюрьму
                    и принял яд
или рукою бессердечной
задушен был,
                    хоть говорят —
открыл секреты
                    жизни вечной.

II. Двойник

Сицилийский мошенник и вор,
узколобый
Джузеппе небритый,
ты бретер,
балаганный актер,
но какой же
ты граф знаменитый?
Ты, алкаш,
на себя не похож,
а не то,
чтоб на Кофта с каретой,
инквизиция платит за ложь
и за нож дорогою монетой.
Пропиваешь последний талант
к воровству и работе поденной.
Разве в силах
создать бриллиант
человек, на помойке рожденный?
Разве сможет
подонок понять,
как, скрывая природную скуку,
Калиостро дает целовать
кардиналу холодную руку?

Князь

Князь Иван Калита, сколько выжал серебряных гривен?
Сколько слуги твои для Орды отобрали добра?
Перед ханом Узбеком стоит простодушно наивен
дипломат и актер. Он сегодня играет раба.
Там, где предки его подчиняли великою кровью
города на Руси не без помощи диких татар,
там Иван посылал разбираться с надменной свекровью
дорогую сестру. Сам свозил драгоценный металл.
Новгородские гости стонали, шипели бояре,
и тверские князья посылали посыльных в Литву.
А его мастера на Москве городили, ваяли,
поднимали соборы. И Бог наградил Калиту:
отошел от Литвы Византией поставленный пастырь,
переехал к Великому князю, грехи отпустил.
Князь ордынские шмотки содрал перед баней,
как пластырь,
выпил квасу, и веник вогнал самодержца в настил.
А потом он решил отоспаться, впервой не кололось
одеяло из пуха. И мог отоспаться вполне,
но увидел себя сквозь туман на кауром коне
и услышал сквозь дрему похожий на собственный голос:
«Позабудь про покой, ты уверен, что правильно
правил?
Иль уверен, что ты не виновен в убийстве князей?
А когда ты любимых детей в знак залога отправил
в Золотую Орду, кем ты стал для жены и друзей?»

Армянину

I

У меня для тебя —
ничего, мой родной,
кроме честного слова,
кроме добрых детишек
и матери еле живой,
кроме тесного крова,
кроме крови
горячей моей нулевой,
кроме сердца больного.
Но за это
ручаюсь своей головой
человека прямого!

II

Мать-Земля разверзлась,
как ущелье.
Разметал селенье Сатана.
Человек в огне землетрясенья
мог подумать — началась война!

Будь ты проклят,
век вражды ужасный,
даже если хоть один бедняк,
обезумев,
хоть один несчастный
перед смертью мог подумать так!

* * *

Он глядит на скрижали врачей:
«нервный шок,
переломы,
давленье,
аллергия...»
А сколько ночей
он в себе убивал вдохновенье?
Сколько было сердечных потерь?
Сколько раз
он бывал обездолен?
Записали б ему в бюллетень,
что больной
состраданием болен,
что друзья и подруги его,
видит Бог,
на корню предавали.
И не нужно ему ничего
на большом шутовском карнавале.
Он умеет любить и дружить —
в этом смысле
другие болеют.
Исцеляйте, пожалуйста, жизнь,
а хворобу он сам одолеет.

Книга отзывов. 1973

«Не нужно Павликов Морозовых
вытаскивать на пьедестал!»
Я прочитал и книгу отзывов
листать на время перестал.
«Ну хорошо —
в эпоху Сталина,
но ежедневно,
без конца,
сын предает отца, крестьянина
зажиточного,
но отца!
Я понимаю —
агитация,
пускай узнает стар и мал:
родитель коллективизацию
не так,
как нужно, понимал.
Но в наши дни,
почти что с азбуки,
ну просто за сердце берет,
Морозов Павлик в алом галстуке
отца родного предает!»

Последнее письмо

Сын родился в счастливые дни,
разве не было счастья?
Я ли не был милее родни?
Позабыт в одночасье.
Что любовь? Позабыта беда:
не на санках катались,
с мальчуганом, хрипящим едва,
по больницам скитались.
Я Всевышнего молча молю,
в чем единственно волен,
чтоб короткую память твою
мальчуган не усвоил,
чтобы помнил дорогу домой,
невеселую даже,
чтоб однажды, любимый тобой,
не забыл тебя так же!

* * *

Бывает на свете любовь:
король перекупщиков голый,
вздымая надменную бровь,
разлегся на полке вагонной.
Он рыжую школьницу злит —
прогульщица выпила малость,
жалеет себя и казнит
за то, что с козлом целовалась.
Сползло одеяло с плеча,
открыв волосатую руку...
— Кому отдалась сгоряча?
Седому хмырю, полудурку! —
И так до утра проворчит,
сминая атласные банты.
Однако назавтра смолчит —
получит свои бриллианты.

Соглядатай

Лихой пловец, ныряющий в пучину
опасных дел,
совсем не без причин
его лицо
попало в паутину
сухих непроницаемых морщин.
Он может
переоблачиться на спор
и быть похожим
на любой портрет.
Но кто держал
его гражданский паспорт?
Никто не знает,—
сколько стукнет лет!
Подорожала водка —
тянет бренди.
Ушла жена —
с кинозвездою спит.
Сегодня входит
в Дом моделей денди,
назавтра —
в Дом писателей пиит.
И в редкий день,
когда самим собою
захочет перед зеркалом побыть,
без парика,
с залысиной седою,
он начинает
серым волком выть.
Запьет таблетку
и опять лукавит,

отчетный почерк
чуть витиеват.
Горбатого
сомненье не исправит —
он и в аду
останется горбат.

* * *

Дам трояк,
возьмитесь за утруску
этой толстой женщины
в летах.
Отнимите у нее нагрузку
в профбюро,
стерпите «ОХ!» и «АХ!».
Отберите у нее бумагу,
красный
протокольный карандаш,
напоите сельтерской беднягу,
посадите в транспорт — и шабаш!
Правда,
перед тем
возьмите слово,
чтоб
без графомании жила,
и тогда
в семью вернется снова,
может быть, нормальная жена.

На похоронах

Понаехало много народа,
но ни дети не знали, ни мать,
что с утра у казенного гроба
бывший кореш придет постоять.
Он ко мне подошел:
— Вот удача,
до конца
за пятнадцать секунд
я боялся,
что я не заплачу,
посмотрите,
как слезы текут!

В память

I

Если бы страх
не сковал молодого лица,
если б во снах
не кричал на седого отца,
что убежал с поселения
с маленьким братом,
если б всю жизнь
не прожил до конца виноватым,
не родилась бы, наверно,
нелегкая лира.
Перековали бы
колокол «Нового мира»!

II

Я выкрутил тельник матросский,
чтоб было фланировать в чем,
когда Александр Твардовский
приехал во внуковский дом.
Он вышел из черной машины,
свободному псу посвистал,
но дочки своей Валентины
и внуков своих не застал.
Тогда он с тоской огляделся
и, не опуская лица,
лаская веселого Рекса,
решился проведать жильца.
Поэт поздоровался жестко,
не брезгуя мыльной рукой:

«Ну, как поживаете, тезка?
Смотрите, денечек какой!
Как дышится, дух занимает...»
Я жаждал общенья и вот
ответил: «На булку хватает,
и дело тихонько идет».
Был взгляд обреченного светел.
Я понял, что нынче ему
ни в жизни не страшно, ни в смерти,
но боязно пить одному.
Известно, как будто Твардовский,
еще преисполненный сил,
давно на Большой Пироговской
на кладбище место купил,
давно к монастырской сирени
проложен был горестный путь,
мол, ходит туда в воскресенье
на пару часов отдохнуть.
И я от бессилия, дуром,
в преддверии стирки большой,
стоял с человеком и думал:
«Не вовремя как-то пришел».
В поселке, где иволга свищет,
убийственней зрелища нет,
когда с перебоями дышит
затравленный русский поэт.

Если он не помрет
на больничном матрасе —
дикий шквал
остановит его вертолет.
Ну, а если
случайно ему повезет:
чуть живой доползет
по болотистой трассе
до людей,
и заявится ночью домой.
Все равно на рассвете
девятого марта
поведет горемыку
небесный конвой,
подметая крылами снега виновато.

Другу

I

Вот мама Леоновича лежит
спокойная и как бы молодая.
Вот сын ее бессмысленно дрожит,
от горя ничего не понимая...
Стою в углу,
кепчонку теребя,
достала друга горькая судьбина,
и виноватым чувствую себя:
ведь Ольга Алексеевна любила
меня,
пускай не слепо и светло,
как сына,
но бывало, огорчалась,
когда мне было плохо.
И за то
спасибо ей.
Теперь стою, качаясь.
Друг мутным взглядом
поглядел кругом:
свои молчали,
громко голосили
чужие люди. Будто в сердце кол —
зачем нечасто шел сюда бегом,
когда был счастлив или рад за сына?
К чему я нес
в привычное жилье
все, что в душе
безудержной кипело,

единственное чадушко ее
судил порой, хотя бы и за дело?
Вино сегодня друга не берет.
И у меня такое ощущенье,
что страшное страдание дает
за многие грехи ему прощенье...

II

Мама твоя
уходить не хотела
в иные края.
Господу было угодно,
Чтоб за тебя
выполняла железная мама твоя
функцию громоотвода.
В тесной московской квартирке,
как будто в избе,
до петухов поднималась,
там, где тебе
не хватало сомненья в себе,
мама твоя сомневалась,
где не хватало
простого умения жить,
молча в беде заслоняла,
не позволяла срамиться,
душою кривить
и за грехи извиняла.
Ну а случалось,
что друг поделом не прощал,
чудился нощно и денно,
друга, смягчая вину,
приглашала ко щам
Ольга твоя Алексевна.
Вот и узнал,
как без матери люди живут,

стягивай пояс потуже,
будь жизнестойким —
без устали молнии бьют
и изнутри и снаружи.
Ну а почуешь в себе
недобор доброты,
холод в душе непокорной,
вспомни, что мама
глядит на тебя с высоты
с тихой тоской беспокойной.

Разнорабочий

Где мой жилистый дед,
что умел отвечать
                    на вопросы,
что на старости лет
сквозь доносы прошел
                    и допросы?
Был бы дедушка жив,
может, мы
          ни коврижку,
                    ни ситник,
но не ели бы жмых...
Ну а где мой отец,
                    мой защитник?
Был бы жив мой отец,
я бы
     на ноги встал поскорее.
Поднимался юнец
наподобие лука пырея.
Беспокойная мать
с терпеливою бабушкой вместе
мужика воспитать
захотели
          по совести-чести.
Одолели меня
две училки
          с упрямыми лбами.
Не боялся ремня —
ведь любили
          и били по-бабьи,
а боялся слезы

и опущенных рук
безысходных,
и старался, призы
получал
в дни гуляний народных,
и уроки зубрил,
а в укромном углу
втихомолку
щеки гладкие брил
и на курево
рвал «Комсомолку».
Был бы спец я и жнец,
первый парень
на улице Пресне,
если б жил мой отец,
если б
не было войн и репрессий...

Надежда

М. Н. Юдахиной

Бабушка почти что девяносто
в мире прожила.
Все слыхала
и видала остро,
все его ждала.
Сорок лет надеялась бабуля,
каждый долгий год,
что ошиблась вражеская пуля
и сынок придет.
Только, видно,
пуля угадала —
дядя мой не шел.
До конца, родимая,
страдала.
Тихо, хорошо
умерла она в одно мгновенье:
сколько можно ждать?
Но успела
все долготерпенье
внуку передать.
Я теперь живу
в сплошной тревоге,
сам давно отец:
не могу заснуть —
а вдруг с дороги
завернет боец?
Вдруг она права —
вернется дядя,
не погиб, живой,
с орденами,
словно на параде,
и совсем седой?

Пусть бы он
и не такой вернулся:
хоть без ног,
без рук...
Хорошо бы,
чтоб на мне замкнулся
этот страшный круг!

* * *

Я живу без протекций
                    и лишних монет
умиленный
            квартиркой своей небольшою.
В сорок три у меня
                    даже отчества нет,
одиночества нет
                у меня за душою.
Все ищу пониманья
                  в кругу молодых,
состраданья ищу
                в сотоварище честном.
Целый ряд
          отдохнувших друзей и родных
ожидает меня
             в лесопарке небесном.

1985

Возвращение к жизни

Г. А. Юдахину

Он приехал с войны с Дальнего Востока,
коренастый летун — перебитый нос,
на два борта коверкот, шляпа из Мосторга,
как девице подмигнет — по сердцу мороз.
С ним в кино под ручку шла старенькая мама.
Он с гражданскою женой в загсы не спешил:
семиклассный старшина порешил упрямо
отработать аттестат за год с небольшим.
Географию сполна изучил летая,
геометрию в бою взял своим умом.
Расплатился с ним Китай по цене Китая:
две коробки орденов, шелковый рулон!
«Слава богу, жив-здоров, крепкая порода!
Поработай! Поучись! Будь специалист!» —
похвалил его отец, бывший «враг народа»,
а теперь — пенсионер, старый коммунист.
Отработал аттестат. На последнем взводе
по две смены гнал металл, «собирал калым».
Так и жил бы не тужил, если б на заводе
не ответил «пахану» левым боковым.
Сам себя приговорил. Четким апперкотом
он шестерку повалил. Надо понимать —
был жесток Узбекистан в пятьдесят четвертом.
«Уезжай-ка от греха!» — зарыдала мать.
Отмахнулся сгоряча: — Кто кого боится?
Против лома есть прием — тот же самый лом! —
Увели сперва жену. А его в больницу
через месяц привезли — сложный перелом...
И уехал человек навсегда в Россию,
поначалу загулял, чтоб жену забыть.

Предложили самосвал,
он сказал: «Осилю,
самосвал — не самолет, так тому и быть!»
В воскресенье на пари разогнул подкову,
выпил мутный самогон, словно это яд...
Пожалела летуна Шура Бунякова,
родила ему подряд целый детский сад.
Под Саратовом в селе тяжкая забота:
и корова, и корма, и запасы в дом,
от ворот да в огород, до седьмого пота,
ни тюрьмы и ни сумы — все своим трудом.
Трудоднями не прожить — не прийти с обновой,
молока не надоить, денег не послать...
Но когда по корешам он сидел в столовой,
то, бывало, вспоминал, как встречала мать,
как приехал он с войны, с Дальнего Востока,
синеглазый, молодой, перебитый нос.
На два борта коверкот, шляпа из Мосторга.
Только девке подмигнет — по сердцу мороз.

Саша Маркус[1]

В македонском сюртуке дорожном
он сидел
Бамбулой осторожным,
все боялся
хрупкий стул сломать.
Пил компот,
хотя хотел поддать.
«Не пускала жинка
в город Тетов,
а приехал...»
Силясь прикурить
прохрипел,
что на две тыщи метров
поднялся со мной поговорить.
Переживший
три инфаркта с ходу,
лил смущенно
валерьянку в воду,
хлопал в такт танцорам,
подпевал,
в общем,
от других не отставал.
Доставал дагерротипы дочек,
представлялся,
веселя людей:
«Саша Маркус,
местный переводчик,
допотопный киевский еврей!»
Протокольно спорили,
кутили,

[1] Саша Маркус — известный югославский переводчик, театральный деятель.

плавали в бассейне,
как в реке...
Так мы с ним
и не поговорили
по душам на нашем языке.
Я его
спросил перед отлетом:
— Ну давай,
поговорим сейчас! —
Он сказал: «Не стоит по субботам
объясняться...
В следующий раз».
Под крылом
страна друзей осталась,
Мы неслись домой
сквозь облака.
А за нами
телеграмма мчалась:
«Саша Маркус умер. ТэЧеКа».

Из румынской тетради

I. Брашов

Справа управа, а слева
смотрит с витрины генсек.
С листьями падает с неба
первый неласковый снег.
Ну его с холодом к ляду —
горы не любят больных.
Два переводчика кряду
выпало нам на двоих.
Шутит Евгения мило,
слушает Юру Ион.
Средневековая вилла —
видимо, жековский дом.
Кинотеатры и школы,
пара телег, лимузин;
в церковь святого Николы
встроен шальной магазин.
Словно они виноваты,
гиды молчат в стороне.
Эти музейные латы
сделаны точно по мне,
листья дубовые эти,
красные, радуют глаз,
быстрые звонкие дети
бегают, словно у нас.
Хлеб цыганенок молотит,
ходит пешком атташе,
и никого не заботит,
что у него на душе.
Польки флиртуют, как в Польше,
негры чернее чернил...

Господи, хоть бы подольше
город лицо сохранил.
Хоть бы столицу уезда
не перестроил стройбат.
Спи, интурист, у подъезда
при автомате солдат.

II. Музей села

Музей села. В осенней позолоте
стоят дворы из цельного бревна.
Их охраняют дворники в заботе
о чистоте. Нет в погребе вина,
нет в детской люльке крепкого ребенка,
пропали кошки. На дверях запор.
В пустом хлеву не пахнет коровенкой,
не трется хряк щетиной о забор.
Вблизи пруда, наполовину в иле,
рассохлась лодка. Мне давно знаком
такой пейзаж: я помню — бабы в мыле
несут узлы, потом идут гуськом
белесые детишки, покидая
вслед за отцами русское село...
Какой Батый? Какая сила злая
их поднимали? Сердце заняло —
кому нужна моя тоска-кручина
в чужих краях по стороне родной?
Но до чего безлюдная картина
в музее Бухареста в выходной.

* * *

Любче Стойменскому,
Ефтиму Маневу

Песня гнева и печали, боли и неволи,
песня ледяного Дрима, черных гор окрестных,
танец сцепленного круга в горе и застолье,
македонский танец «Оро» — это танец-песня.
Мне сегодня не до рыбы и не до ракии,
не до дружественных тостов и веселых игр,
я сегодня сострадаю, братья дорогие,
я танцую с вами танец, переживший иго.
Мы плывем, обнявшись крепко, в круге неделимом.
Три шага, и, на мгновенье вместе замирая,
я танцую танец с Любче, Славкой и Ефтимом,
а над нами плачет песня без конца и края.
Песня братства и свободы, это песня ветер.
Я танцую танец юга, русский северянин.
И меня, как добровольца прошлого столетья,
со слезами обнимают древние славяне!

Обломов

Что он такое и кто он такой?
Пьет без веселья, живет без надежды,
женщину гладит затекшей рукой
между лопаток по шелку одежды.
Заведена вполовину накала,
женщина смотрит себе на уме
на кишиневский огонь каберне,
что холодит сквозь ледышку бокала.
Что он такое надумал опять?
Окна распахнуты. Гостья простилась.
Без вдохновения сел сочинять,
что-то в груди его переместилось
лишь на мгновенье... И снова туман.
Полубессонница. Полудремота.
Позже ему позвонила маман,
но и с маман говорить неохота.
— Как же ты, брат,— укоряют его,—
праздно живешь, ничего не давая? —
Он отвечает, согласно кивая:
«Что же давать? Мне сильнее всего
хочется выспаться, не умирая».

Усть-река

На Пелус-озере вода еще живая.
Мережи в мае в холода
трещат от щуки.
У бабы Кати свой пирог —
мука ржаная,
а посредине жирный лещ —
хватает штуки.
Дом у Васины на корнях кривых усталых,
вокруг, как будто скотный двор,— ни пня, ни травки.
Хоть у Васины полон дом продуктов старых,
но откупает все равно пол-автолавки.
А баба Лиза на юру, за тихой лахтой,
чуть глуховата, потому кричит при встрече
с двужильной Верой, что стоит в фуфайке ватной,
у Веры восемь дочерей живут далече.
Борис Калинин, как пират, с одной ногою,
он перекроет и в аду сетями реку,
его бараны не дают ни дня покою,
упрямо прутся в огород,
ну как в аптеку.
На Пелус-озере зимой шалят чужие,
набьются в чью-нибудь избу
вина напиться,
поскольку съедут весь народ и домовые
в районный центр до весны,
а кто в столицу...
Подсочник Вася говорил, что не потонет —
он повалился на большак, раскинув руки.
На Пелус-озере еще пока хоронят,
но стало некому рожать — одни старухи...

Заздравное

Пускай живет деревня
тыщу лет!
Пускай рычат начальники,
как барсы!
Давайте выпьем
за нелегкий хлеб
и привозные толстые колбасы!
Крестьяне,
надевайте ордена,
подымем тост
(отложим серп и молот)
за то,
что мы изрядно кормим город,
за то,
что мать в России родила!
Народ уходит
«пан или пропал».
Но все равно
пекарня месит тесто,
и все равно
мы выполняем план
и претендуем на второе место!

Памяти Сергея Маркова

Мой учитель, Сергей Николаевич Марков,
на войне и в тюрьме был всегда одинаков:
сам себя по суровым законам судил,
в людях совесть будил и за жизнью следил.
Не следил, горемычный ее очевидец,—
терпеливо любил, дополнял, как провидец,
знал Завет, изучил для свободы санскрит,
про него говорили: «Когда же он спит!»
Он себя не жалел и болел бесконечно,
и хворает, наверно, в обители вечной,
на траве-мураве, к валуну прислонясь,
через лупу читает славянскую вязь.
Мой учитель, Сергей Николаевич Марков,
знал не хуже поляков, чем славился Краков,
в Костроме не объехать его по кривой,
по Сибири с котомкой своей полевой
походил! Назовите поэта другого,
кто не хуже Брокгауза и Соловьева
мог ответить на самый дотошный вопрос?
А Сергей Николаич смеялся до слез.
Он смеялся до слез, а теперь его нету.
Стосковался Христос по большому поэту.
Перед ангелом с кружкой чифира стоит
молодой синеглазый лобастый старик.

* * *

Мой милый друг,
сестра моя шальная,
нет на Тибете
высоты Синая,
Тибет превыше
Сулейман-горы.
Там карма, космос
вместо милосердья
и ты сгоришь
в убийственной беседе
с проводником,
не чувствуя жары.
Но если ты
пройдешь огонь и воду
и вдруг поймешь
к двухтысячному году —
тебя зовут,
тернистый путь искрит,
ты все равно
не выдержишь нагрузки
великих тайн,
твой ум мадьяро-русский
споткнется
о спасительный санскрит!

Юрию Левитанскому

У человека есть жена,
три дочки кряду,
у человека дом большой
и стол старинный,
а он сидит за тем столом,
и нету яду,
а то бы выпил и воскрес
в шинели длинной.
У человека есть жена
и вроде нету.
Из дочек младшая одна
порой подходит,
из-за нее, из-за больной,
слабо поэту
послать все к черту:
он сидит, тоску наводит.
Как хорошо, что иногда
нагрянет слесарь.
Еще сосед навеселе
зайдет и скажет:
«Да ты красивый человек,
ты римский цесарь!
Звони скорее хоть кому,
тебя уважет!»
Кому звонить?
Он пережил разрывы сердца,
воспоминаний о войне
в расчет не примут.
Боится выпить,
хоть душа
должна согреться:
а вдруг от боли упадет
и не поднимут?

Красногорское кладбище

Могильщик не стар и не молод,
для бодрости чуточку пьян.
А ну-ка, попробуйте в холод
лопатой стучать по камням.
Среди ежедневных страданий
копает могилы подряд.
Его ордена и медали
на кителе старом звенят.
В округе могильщика знают —
работает дядька давно,
на горе чужом не играет,
берет лишь на хлеб и вино.
Я с ним на помин за братана
не чокаясь выпил до дна,
и он приоткрылся устало:
— Никак не привыкну,
беда! —
Он друга в огне отступленья
в войну не успел схоронить
и трудится во искупленье,
лет тридцать не может забыть.

1972

* * *

Т. К.

Я тебя
непременно найду
то ли в городе,
на вернисаже,
то ли черную,
словно в аду,
в Судаке
на дымящемся пляже.
Но готов
и на каторжный путь
вкруг земли
без конца, без привала,
чтоб, увидев,
небрежно кивнуть
и пройти
как ни в чем не бывало!

Прохожий

Дождь зарядил с утра
холодный, плотный.
Я шел один
больной, голодный, потный.
Куда? Откуда?
Через двадцать лет,
увы, не помню.
Помню парапет
моста над Омкой,
катерок работный
и беспросветный дождь,
холодный, плотный.

Монолог подполковника Стрельцова,

возвращающегося домой со слета прототипов. В свое время Стрельцов стал прототипом ефрейтора Винтовкина в одном из романов Писателя

Я не фат! Не тряпичник!
А ефрейтор Винтовкин!
В общем,— вечный отличник
боевой подготовки!
Я родился с улыбкой.
Из сюжетного плана
мне попалась, как рыбка,
парикмахерша Клава.
Мы смотрели «Карузо»,
целовались взатяжку.
Клава член профсоюза —
обожаю милашку!
Обещанья. Колечко.
Сбереженья с получек.
Мой писатель, конечно,
алкоголик и ключник.
Я ему намекаю:
вот, мол, случай тяжелый,
не курю, не чихаю,
перешел на боржоми.
Из-за Клавы Наташу
позабыл,
                словно Каин.
Ем солдатскую кашу,
сплю —
                под голову камень.
Увлекаюся флейтой
(научился прилично),
чтобы этот ефрейтор
вышел реалистично.

Я ему намекаю:
сделай щедрой рукою
ресторан с коньяками,
с заграничной икрою!

Но писатель не слышит
ни страданий, ни мата —
продолжение пишет
для военноиздата.

Про Фому

Крепко битый убогой шпаной в переулке,
до сих пор на лице кривизна,
все равно продолжает ночные прогулки:
— От вина,— говорит.— Не со зла!
Не вина,— говорит,— а беда человека,
оскорбленного скудной судьбой,
если спившийся Каин двадцатого века
оживляется только с толпой.
У шпаны — ни земного, ни божьего царства,
ей понятна одна Колыма.
Жаль ее за ее вековое мытарство! —
головою качает Фома.
У Фомы недоверие к точным наукам,
он пытается словом спасти,
а не формулой. Проданный преданным другом,
говорит лиходею: «Прости!»
Говорит: «Разве можно прожить благородно,
позабыв про тюрьму и суму?
Всемогущий Спаситель горбушкой голодной
не спасет в наше время страну!»
Видит Бог — на душе у Фомы наболело,—
откровенье не станет бедой:
из его недоверия черного дела
не состряпает гад никакой!
И сегодня, не веря последнему слуху,
он купает в лучах доброты
постаревшую полубезумную шлюху
со следами былой красоты.

Сон архивариуса

В ЦГАЛИ не хватает места для прибывающих рукописей...

Из протокола профсоюзного собрания

Сначала приснилась начальник месткома Берон.
Она, словно Анна Каренина, после решенья
о переизбранье месткома пошла на перрон,
упала под поезд и вызвала этим крушенье.

На смену пришел многоцветный пророческий сон:
как будто бы старый архив стеллажами расперло,
и рухнули стены, и сторож рванул колесом,
и вышли на улицу полки работы топорной.

В докладе указано: в семьдесят первом году
душа Пастернака горящей стрелой пролетела.
Сорвавшийся с полок, ушел Маяковского дух
искать для себя на Руси подходящее тело.

Крымская гостья

— Разве это жалкое жилье
для такой мадонны,
мама мия?! —
В самом деле
чем-то на нее
вы похожи,
милая Мария.
Чуть растерян
ваш библейский взгляд —
вам, видать,
хозяева писали,
как с навеса
вился виноград
и цветы
глицинии
свисали.
То, что было,
поросло быльем.
Во дворе
стоят гурьбой времянки.
Под навесом
сушится белье
многодетной деловой армянки.
По идее неплохой народ
здесь ютится
и не знает горя.
Нас спасает
от любых невзгод
неизменно ласковое море;
Отойти от суеты сует
голубые горы помогают.

Лично на меня
двенадцать лет
местный пес
от умиленья лает.
В Коктебеле посредине дня
лучше пить вино
в прохладной хате.
Приходите, милый друг,
в себя,
скоро возвращаются «шанхайцы».
Ваш младенец,
как на образах.
Ну а вы,
увы, сентиментальны.
В ваших озабоченных глазах
не хватает тайны.

После фильма «За все заплачено»

Я видел фильм, где семеро «афганцев»
спасли Сибирь от мафии лихой.
Мелькали финки в поле и на танцах,
и каратэ закручено с лихвой.
Сухой закон залит вагоном спирта.
На старшину «афганцев» — есть пахан,
по кличке Марадонна, лысый хан,
хам пострашнее капитана Флинта.
Кругом одни разбойники живут,
воруют, пьют, насилуют под елкой...
Позор тебе, советский Голливуд
с плохой «Великолепною семеркой»!
Не важно, что, пиная финский нож,
контуженный солдат десятиклассный
нас учит жить,— беда, что эта ложь
афганского учения опасней:
не получилось там, теперь своих
одолевает армия советом,
сюжетом «Самураев семерых»,
железной мышцей, «голубым беретом».

* * *

Тебя пронзило наконец:
— У сына
должен быть отец
незаменимый,
хоть сто раз
иди венчайся! —
Быть может,
просто поняла,
что ты счастливой не была
с другими,
потому что я
живу в несчастье.
А может —
временная блажь?
И ты
скупила весь тираж
стихотворений про свою
со мной разлуку?
Когда и это не спасло,
хоть все травою поросло,
ты стала мысленно искать
дорогу к другу.
Наверно, я не победил
свою беду,
нагородил
чего не надо
про тебя
в порядке мщенья?
Но ты
стояла предо мной,
отягощенная виной
предательства
в надежде на прощенье...

* * *

Давно не навещал
друзей в Сибири.
Когда-то с ними
мы латынь зубрили,
таскали шпалы
ночью сверхурочно,
глушили спирт
и выражались точно.
Когда-то я
экзаменов боялся,
умел краснеть
и по уши влюблялся.
А как над нами
журавли трубили?
Давненько не был
у друзей в Сибири.
Мои друзья московские,
как братья,
у них
довольно крепкие объятья,
они умеют пить
и сочинять.
Мне с ними жить
и с ними умирать!
Делю кусок,
живу с друзьями в мире.
Я научился этому в Сибири!

Емеля

В худой «болонии» холодной,
полуначитан и смешон
из самой глубины народной
я на своих двоих пришел.
Пусть просят
                    нищие калики —
я брат рабочему рублю,
перечитаю ваши книги
и куртку новую куплю;
однако
          за какие деньги
вполне пустой столичный франт
возьмет
          на откуп у Емельки
долготерпенье и талант?

Байрон

В фирменном поселке
в деревянной
двухэтажной крепкой «конуре»,
как стихи,
бормочет постоянно
притчу о суме и о тюрьме.
Не вернул
единственную ссуду,
поминая с мистикой Гаи,
ночью моет
чистую посуду,
ревизует записи свои.
Передумал
обо всем на свете,
голова бедовая болит,
а когда приходится о смерти,
— Наконец-то высплюсь! — говорит.
Артистично в Байрона играет,
но собаке это невдомек
и она, отчаянная, лает,
никому покоя не дает.

1987

Памяти Слуцкого

I

Поэтов не сшибают
с пьедестала.
Когда Бориса Слуцкого
не стало,
пошли его подборки
там и тут.
Я понял,
что его пора настала.
Стихи поэта Слуцкого живут.
Скупое слово
недобитой чести
про страшную войну
и Колыму
горит, как будто кровь
на лобном месте,
чем дальше,
тем значительней и резче
внушая боль на́роду своему.

II. Прокурор

Свой отточенный стих
беспощадно ломал,
но кормил молодых,
в дождь пальто отдавал.
Он щетинил усы,
настораживал слух,
если где с полосы
пел сановный петух.

Сам рукою крутой
обозначил свой век,
не святой завитой,
а живой человек:
поначалу любил,
а потом не прощал.
Поначалу судил,
а потом защищал.
Ошибался — не лгал,
и теперь он живет,
и друзьям
и врагам
ночью спать не дает,
из могилы своей,
проклиная террор,
защищает людей
фронтовой прокурор.

III

С недавних пор
я не люблю ворон —
не отошел
от прошлых похорон.
Глаза закрою,
и лежит учитель,
и воронье летит
со всех сторон,
и похоронщик оправляет китель...

Глаза открою
и стою, как все,
на тротуарной мокрой полосе,
плечом к плечу,
а на душе обида:

мы потерялись,
словно в страшном сне,
нас собирает только панихида.
А панихиде не видать конца.
Смотрю в лицо —
не узнаю лица
известного в Отчизне и Европе.
Я не видал суровей мертвеца,
чем человек
в казенном тесном гробе.

Монолог семидесятых

В. К.

Давайте,
меняйте меня на других
на поприще службы.
Семья
обойдется без шуб дорогих
и временной дружбы.
Давайте,
печатайте ваши стихи,
строчите романы
пахучие,
словно плохие духи,
налитые в ванны.
Пусть книги мои
не захочет издать,
как надо издатель,
но ваши —
не станет ночами читать
мой верный читатель.
Вы можете
к ногтю прижать «стервеца»,
разделать красиво,
но вы не замените детям
отца
и матери — сына!
В этапных снегах,
в погорельской золе,
под небом отчизны
поэта нельзя заменить на земле
ни в слове, ни в жизни!

* * *

У него по весне закидон
аллергический вроде —
все равно
едет в дружеский дом
подышать на природе.
Переборет себя,
но пока
от щекотки хохочет:
превращает его в дурака
запах липовых почек.
Каждый год
человек по весне
от цветения пьяный,
видит все
в супростиновом сне
среди дымки туманной,
и, наверно,
ему не понять
Ходасевича строки,
хоть хозяин устал повторять
даровые уроки.
Дачный домик
давно знаменит —
в нем диковин немало;
сонный гость
на диване сидит,
удивляясь бывало
биллиарду, пунктиру гвоздей,
не по-плотницки вбитых,
фотоснимкам настенных вождей —
игроков знаменитых.

* * *

Великий мастер
тонкой паутины,
всего скорее пастырь,
чем пастух,
сошел с Парнаса
в дымные долины
и потихоньку переводит дух.
Долой овчины
каторжное платье,
пускай сквозит
на кухне из окна.
Теперь хозяин в бархатном халате
поверх костюмной пары,
для тепла.
Небритый гость
одет, как немец пленный:
дешевый шарф,
спортивное трико,
но разговор идет
проникновенный
и, может быть,
заводит далеко.
О чем в субботу
битый час толкуют
простудный бас
и четкий баритон?
Часы остановились —
не кукуют,
их заведут.
Они пойдут потом.

* * *

Мыслители, дети ли,
сторонние или родня —
все люди свидетели
каждого божьего дня.
Глядите внимательно,
как бревна цепляет багор,
плотина, как платина,
сверкает
            меж каменных гор,
детишки на улице
ведут круговой хоровод,
пшеница волнуется,
как на открытке,
                              но вот:
вдруг кто-то спикировал
с пятого.
            Скрипнула дверь.
Свидетели Кирова,
что с вами стало теперь?
Вы войнами кручены,
люди любви и труда,
а все не научены
жить,
      доживать до суда.

* * *

Замороченный
белым бумажным листом,
ты писал с упоеньем
и ночью и днем.
Равномерно
старинный поскрипывал стол.
Ледяное лицо полыхало огнем.
Ни тюрьма не грозили тебе,
ни сума,
но любимая
сонного сына взяла
и ушла.
Коммуналка сходила с ума.
За окном
по-казачьи свистала зима.
По весне
остужала виски седина
и работа тебя выручала опять.
Лишь девятого
ты надевал ордена,
шел к Большому театру
по улице вспять.
А потом
становилось труднее вдвойне,
затекала рука
от трофейных часов,
без вины
вспоминал о проклятой войне,
и опять не хватало
единственных слов...

Артельщик

Пять детей, как велит шариат.
По-ферганcки обритый,
молчаливо живет азиат
на земле ледовитой.
Кипяток
превращается в лед
при жестоких морозах —
он живет,
чай спасительный пьет,
вспоминает о розах.
Хоть загар со скуластой щеки
смыт шугой беломорья,
он персидские пишет стихи
на рыбацком подворье.

* * *

Из трухи
не спроворить сегодня ухи —
то идет мордобой,
то братанье.
Видно, друг,
за великие наши грехи
сотрясают страну испытанья.
Я с тобою согласен,
седая башка:
мы, наверно,
во всем виноваты,
раз казна утекла
из худого мешка
и армян разгоняют солдаты!
В наши дни
нам не вешаться надо,
а жить,
хоть в большом виноваты
и в малом,
ведь другие
не будут пеньковую вить —
будут бить,
налетая навалом.
Два шага
от кормушки у них
до идей,
чем развратнее лица —
тем строже,
не научат
расхристанных наших детей
эти злые невинные рожи.

Слава Богу,
что наши детишки подчас,
нам с тобой подражая,
краснеют,
что в годину печальную,
глядя на нас,
потихоньку
от боли взрослеют...

Связь

Л. А. Юдахиной

I

Вот иногда
налечу между делом
в школу, без стуку,
поцеловать испещренную мелом
мамину руку,
жесткую руку поклонницы Блока
в кофточке чустской,
руку отходчивой и одинокой
женщины русской.
Я бы не выжил
в заморском селении,
в гибельной дали,
без материнского благословения
и ожиданья.
Я бы не выдержал
в деле тяжелом
без пониманья,
что не предам никого и чужого
не прикарманю!

II

Покупаю изюм, курагу.
Я жалею, как только могу,
навещаю усталую маму.
Мама-пленница снов и примет:
то не спит «от парада планет»,
то затмение «бьет по карману».

То во сне наблюдает,
как вор
пробирается боком во двор,
догоняет ее «у подъезду»...
А чего же ее догонять?
Можно только болезни отнять
и немодную нынче одежду.
Всюду в комнате раунатин.
Я у мамы остался один,
плюс — мои несмышленые чада.
Принесу для нее четвертак,
а она эти деньги в кулак:
«Завтра праздник,
пусть едут внучата!»

Чолды-Ёлды

В Андижане жила побирушка —
провозвестница бед.
В чайхане привечали старушку:
«Чолды-Ёлды, привет!»
Наполняли ей рисовым супом
допотопный бидон,
и она улыбалась беззубым
провалившимся ртом.
Но когда Чолды-Ёлды ворчала,
лучше было бежать.
Голова у нее, как мочало,
начинала дрожать.
Бесноватая адская сила
жгла глазенки ее...
— Чолды-Ёлды! — она говорила,
— Чолды-Ёлды,— и все.
У людей, мы доподлинно знали,
с Чолды-Ёлды всегда
дохли куры, горели сараи —
приключалась беда.
Я, мальчишка, не верящий в черта,
возвращаясь домой,
Чолды-Ёлды всегда безотчетно
обходил стороной.
Где старуха жила, ночевала,
не узнать никому,
потому что однажды пропала,
не пришла в чайхану.
Может, где умерла на скамейке?
Может, поезд унес?

Говорят, на базаре узбеки
горевали всерьез.
Позабыли про страх горожане,
стали жить без затей.
Стало некем пугать в Андижане
непослушных детей.

Даль

Хорошо на Севере, скажете, бывать,
наподобье сейнера рыбу добывать.
— Добывали семеро — один горевал.
Я люблю на Севере добывать слова.
Мужичка порою спросишь: «Дед, уважь!»
Скажет, что в Поное
не костер — «Алаш»,
«баско» — наикраше, «тукать» — звать сюда,
«втора» в Кандалакше вроде как беда.
На полдома кухня. Шпарит нелюдим.
Голова опухла — третий час сидим.
Принесет бабуся колобки в меду.
«Нудой» зовем гнуса, «виньгою» — уду.
«Впродоль, гребь, грабилка, мачка, корча, бот».
Сыплет, как копилка, щелеватый рот.
А потом старуха кликнет старика:
«Наша, мол, Пеструха пьет из родника,
привереда телка!» И уходит вдаль
с лубяным ведерком деревенский Даль.

Письмо в ЦК ВЛКСМ

Форумы, слеты, костры, телеграммы рекою.
Еженедельно открытие мемориала.
Все приглашают усталую маму героя
для оживленья гранитного материала.

Я умоляю людей не возить по России
русскую женщину, мать Кошевого Олега —
немилосердно в течение четверти века
напоминать человеку о гибели сына!

1970

Этот серенький, усатый
разноглазый экспонат
говорит, что он внучатый,
пятерчатый чей-то брат.
Удивленной профурсетке
говорит, что он — Герой,
объясняет, что в разведке
служит с первой мировой...
Тут возможны варианты —
важен спрос библиотек.
Сын полка и лейтенанта
Шмидта, бедный человек.

Хозяин строитель, и я с ним совсем не знаком.
Но вот на картонке коряво, однако от сердца,
начертано углем над старым амбарным замком:
«Ключи под крыльцом, не стесняйся, зайди обогреться!»
Вы скажете — умник, народ поражает честной,
воров с панталыка сбивает, пижонит без толку.
Соседи сказали: «Его обокрали весной,
забрали костюм и транзистор, а также двустволку».
А он ничего. Он приемник купил поновей,
огорил[1] костюм, по повестке пришел в отделенье,
сказал, что ружье оказалось кому-то нужней,
и хватит об этом! И вновь начертал объявленье.
Я был в этом доме и чай без хозяина пил,
у жаркой печурки сушил паровые портянки.
А после я дров наколол и цветок напоил
живою водой до отвала из чистой жестянки.

---

[1] Огорил *(простореч.)* — приобрел с горем пополам.

Реанимация

Что мне вчерашние беды мои?
Что мне
победы мои и бои?
Знать ничего не желаю!
В камне
протоптана мною тропа
к боксу,
куда мой младенец попал,
сын мой, кровинка родная...

Стало светлей.
Загалдели грачи.
«Кризис прошел,—
объяснили врачи,—
можешь идти, не печалься!
Вышел я в город
бесплотен, как тень.
Господи,
сколько здоровых детей,
сколько на улице счастья!

1978

Старый Крым

В старом Крыму,
в принужденном убежище Грина,
В мазанке жалкой
казенного вида кровать,
шаткая тумба,
во дворике вязкая глина
галькой прибита...
Да некому нынче гулять.
Дерево Грина
давно отобрали соседи,
люди, которые
смотрят на нищий музей
как на причуду:
«Наверно, ему на том свете
лучше живется
стараньем покойных друзей...»

* * *

Леониду Медведеву

«Жизнь на кладбище ничего не значит.
Быть иль не быть? — бессмысленный вопрос».
Я видел, как Давид Самойлов плачет,
без облегченья и почти без слез.
Плыла свеча. Труба печально пела.
Песок струился древний, как Завет.
Мать хоронить — естественное дело —
покойной было девяносто лет.
«Мы все там будем, рано или поздно»,—
подумал он. И вспомнил голоса
Бориса, мамы. Стало в полдень звездно,
чуть покачнулся и открыл глаза.
Эстонская сосна надгробной стала.
Прах засыпали. Дело шло к концу.
Я видел, как слеза смолой сползала
по ледяному бледному лицу.


МИНИАТЮРИ

* * *

Поэты на земле подолгу не живут,
хоть не боятся
ни тайги, ни ветра.
В колымской мерзлоте
когда-нибудь найдут,
как мамонта,
замерзшего поэта.

* * *

Швырнул бутылку вдохновенно
в нырка подвыпивший матрос,
раздался тихий стон вселенной,
в другом конце земли мгновенно
землетрясенье началось.

* * *

Б. В.

Деревья от цепких корней
поднимаются ввысь,
их сила идет от корней.
Все, что нас окружает,
подземные корни имеет.
И камень, как пень,
кремнистые корни
порой в клинозем погружает.

На востоке

Когда рассвело на востоке,
я, как по тревоге, поднялся.
Такой неожиданной боли
не знала моя голова...

Я дверь отворил, чтобы крикнуть:
«Чего же ты мучился, дождик?»
Я дверь отворил;
                    на пороге
лежал ослепительный снег.

Планерист

С. П. К.

Он любил
под голубыми небесами
полагаться на крыло,
как будто птица,
забывая,
что земля внизу вертится,
что запястье
окольцовано часами.

* * *

Нет страшней одиночества старых квартир
с потолками высокими, словно Памир,
но включи телевизор,
и хлынет наружу
искаженный экраном сегодняшний мир
и возьмет в оборот одинокую душу.

* * *

«Да я вчера такое увидал!»
Обняв меня
мазутною десницей,
мне тракторист
под мухой объяснился:
мол, у него с машиною беда;

«Они совсем не любят керосин,
они ночами покидают трактор,
они пасутся
на туманной травке —
с полсотни черных лошадиных сил».

Шут

Ю. Н.

Хохочите, коли зубы хороши.
Неужели
разучились хохотать?
Разучились заливаться, гоготать,
для здоровья,
для спасения души.

Я теперь
не огрызаюсь, как медведь.
Я блаженно
улыбаюсь, как дитя.
Жить на свете полагается шутя,
а взаправду
можно только помереть.

Открытка

Ты без меня проживешь
сколько-нибудь беззаботно.
Если соврешь — не возьмешь
дорого. Как безработный,
я по Тверскому хожу,
самый свободный на свете,
и на влюбленных гляжу,
и на площадку, где дети.
Тихо пасут малышей
мамы и старые люди...
Ожесточенья в душе
не было, нет и не будет.

* * *

То, что было радостью —
обернулось мукою,
хочешь к людям выбеги —
хочешь свет туши.
Было одиночество
горестной разлукою,
стало одиночество
праздником души.

* * *

Что мы наделали, жена?
Чего безбожного сказали?
И я живой, и ты жива —
земля разверзлась
между нами.
Пускай меня хотя бы в ад
забросит бешеный цунами,
но в чем ребенок виноват? —
земля разверзлась между нами!
А если я тому виной
и все давно об этом знали,
зачем она не подо мной,
зачем разверзлась
между нами?

И гляжу в окно...

Есть камин у тех, кому не нужен.
И собаку завели не те.
На столе стоит холодный ужин.
Я молчу в кромешной темноте.
И гляжу в окно на синь-дорогу,
где мелькают фары-светляки.
Я очнусь разбуженный тревогой.
Но сейчас в душе моей убогой
ни живого слова, ни строки.

* * *

А. Тихомирову

Жаль, что с годами становится меньше друзей.
Не потому что как надо дружить не умели,
а потому что горели, себя не жалели...
Я на кладбищах в лицо узнаю сторожей.

* * *

Большим поэтам счастье не дается,
при всей любови к людям дорогим.
Никто не спросит: —
Есть ли жизнь на Солнце? —
Его тепло дарует жизнь другим.

* * *

Сплошное движенье вперед.
Одно переходит в другое.
Всего за минуту покоя
я отдал бы, кажется, год.

Покоя ли просит душа,
уставшая от потрясенья?
Хочу в реактивное время
минуту пожить не спеша.

* * *

П. Осетинской

Я люблю черноморскую ночь
за ее беспросветную темень,
где двенадцатилетняя дочь
рядом кажется легкою тенью,
где давно постаревший отец,
обожженный в огнях киностудий,
отойдя от забот наконец,
дышит воздухом полною грудью.
Ночью черное солнце горит,
ветер темной играет листвою.
И с душою душа говорит,
умудренная,— с детской, простою.

1986

Вдохновение

Как слагаются стихи?
А никак!
Человека иногда строчка мучит.
А любитель походить на руках,
он походит на руках и — наскучит.

Как случается порой:
бьет озноб,
плохо видит человек,
глухо слышит.
Подпирает человек жаркий лоб,
а свободною рукой, карандашною клюкой
выход ищет...

* * *

Вспоминаю тебя беспечально.
Буду счастлив — ты только приснись.
Мы простились с тобою случайно,
ненароком навек разошлись.

Отход из Одессы

Еще я как будто бы дома,
еще от прощанья хмельной,
но там,
за стеной волнолома,
наступит порядок иной:
дымок отдаленный, фабричный
означит отечества дым.
Все то, что казалось привычным,
окажется самым родным.

Моряк

И. О.

Ну что ж, ты прав, здесь много эмигрантов,
украинцев и русских прошлых лет.
Средь них блистает несколько талантов
и богачей, каких не видел свет.
Здесь, может быть, привычная погода
и, может быть, встречают по уму.
Но у тебя, в Канаде, нет народа,
в котором я родился и умру.

* * *

В нашу эпоху
усилены стужа и снег.
Но и терпенье
от Бога удвоено строго;
Я терпеливо
надеюсь на дружбу навек.
Друг, может быть,
среди недругов ходит до срока.

* * *

Почему, говоришь,
нет у русских «Народных поэтов»?
Потому что, шалишь,
нам не надобно звание это.

Стать поэтом у нас
потруднее, чем стать воеводой.
Разве сможет Указ
сделать чью-нибудь песню народной?

Мне снится теща в балахоне,
верхом на огненном драконе.
Хотя из брачной кутерьмы
я вышел зол и непреклонен,
свободен, словно вор в законе,
который вышел из тюрьмы!

Осень

А. М.

Возьмите билет за целковый
туда, где осина горит,
как будто бы купол церковный,
который давно позабыт,

где можно на проводах лета
вдали от заботы мирской
скупую тоску человека
сравнить с беспредельной тоской.

* * *

Не важно, с чего начинается мысль
и первая строчка.
Отважно душа устремляется ввысь —
пуста оболочка.

Пока со звездою душа говорит,
безмолвен Сенека,
напрасно чело человека горит,
чело имярека.


ПОЭЗИЯ

Поэма о Николае

Как ты хорош и как ты грязен!
Привет, привет тебе, Калязин!

В. Л.

В укор
столичным каталажкам
литературным и иным,
привет, привет тебе, Осташков,
твоим базарам и пивным,
твоим садам
и огородам
и общим баням
для души,
где ощущаешь
связь с народом,
там рыбаки и алкаши
тебя попарят и приветят
отменным вяленым лещом,
а если вдруг
под глаз засветят,
ты будешь
тот же час прощен!
Стоит Ивановна у чайной:
«Запропастились, кобели!»
Нет,
мы в Осташков не случайно,
по приглашенью забрели...

На Селигере остров Хачин
пока туристом не охвачен.

Еще найдем по берегам
стоянку,
что подходит нам.
Поставим лодку на приколе,
найдем
и жерди и дреколье
и, на угоре свой шатер
раскинув,
разведем костер.
Сюда бы
катер на моторе!
Но одержимый Анатолий
на веслах тянет,
как движок.
Согнулся спиннинг, и...
прыжок!
Скрипит под лескою катушка.
Готово.
Первая подружка,
разинув свой
зубастый рот,
куда попала
не поймет.
А Селигер не только этим —
грибом
и ягодой приметен.
Немало птицы
и зверят,
в траве кузнечики звенят.
Ходи легко и осторожно.
Клади на рану подорожник,
когда наткнешься на сучок
или заденешь
за крючок.
Но селигерский
местный житель,

инспектор,
выпить не любитель,
хозяин лодки, Николай,
сказал: «Отсэдова канай,
с твоей романтикою вшивой!
Вот ты
приехал на машине,
сидишь со мной
у костерка,
не понимая пустяка,
ведь ты
ни уха и ни рыла
в делах!
Хозяйственного мыла
пришли Ивановне,
колбас
толкни на случай,
про запас.
Живешь,—
рукой подать до ГУМы,
а тут
берешь себе отгулы,
чтобы поехать
к вам в Москву,
подразогнать свою тоску».
Он затянулся одиноко.
Я отшатнулся,
как от тока,
и вспомнил песню:
«Николай,
сиди, мол, дома,
не гуляй!»
Ужели надобно в столицу
два раза в месяц торопиться?
Ведь здесь
как будто под Москвой:

и лес такой,
                и гриб такой!
Тайга ли,
        озеро,
                река ли?
К родному месту привыкаем.
Все кажется —
                в других местах
и любят
        и живут не так!
И я ответил старожилу:
«Наверно, мы
                сбесились с жиру,
родное видеть перестав?
Ты был неправ!
                И я неправ!»

1982

Содержание

В поисках доброты

Миниатюры

Юдахин
Александр Владимирович

ПРОХОЖИЙ

Стихотворения и поэма

Редактор Б. Н. Романов
Художник Т. Константинова
Художественный редактор Е. В. Андреева
Технический редактор В. С. Никифорова
Корректоры И. И. Попова, Н. А. Павлова

ИБ № 5163
Сдано в набор 19.06.89. Подписано к печати 05.11.89. А03040. Формат 70x90 1/32. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага офс. № 2. Усл. краск.-отт. 8,93. Усл. печ. л. 4,39. Уч.-изд. л. 3,41. Тираж 9 000. экз. Заказ 477. Цена 35 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30.

[redacted]

35 коп.